

МОНОЛОГ ОСКОЛКА

СТИХИ

Ефим БЕРШИН



Поэт, прозаик и публицист, член исполкома Русского ПЕН-центра, автор многих поэтических книг, двух романов и художественно-документальной книги о молдавско-приднестровской войне «Дикое поле», участник многих коллективных поэтических изданий. Вместе с немецким писателем Каем Элерсом создал историко-философскую книгу «Метаморфозы любви. Россия — пульс мировой державы».

Произведения Бершина печатались и печатаются в крупнейших литературных изданиях России. На русском языке и в переводах они выходили в США, Германии, Швейцарии, Израиле, Аргентине, Румынии, Македонии. Лауреат нескольких литературных премий, награждён Европейской академией общественных наук медалью Фридриха Шиллера. Живёт в Москве.

* * *

Их пришли убивать. Убивать за то, что у них есть родной язык и они не пожелали от него отказаться.

Их пришли убивать. Убивать за то, что у них есть родной язык и они не пожелали от него отказаться. Убивать за то, что отказались сдать новому нацизму. Убивать, наконец, за то, что они — просто другие. Тогда они смастерили из обыкновенного самосвала «броневик», вывели его на высокий берег Днестра, а на бортах этой странной боевой машины огромными белыми буквами вывели два слова: «НЕ УБИЙ!».

Когда я в качестве корреспондента «Литературной газеты» оказался в окопах приднестровско-молдавской войны, я, конечно, многого не понимал. И цикл стихов «Монолог осколка» написал только через несколько лет. Потому что мир для меня перевернулся. И нужно было время, чтобы осознать: всё, чем жил, все ценности, которые были для меня несомненны, — всё

это исчезло. И нужно всё начинать сначала. И только потом — писать.

Начинаю подозревать, что в человеке заложено нечто такое, что заставляет его забывать историю, забывать собственные преступления и приниматься за новые. Приднестровские степи и молдавские холмы хорошо помнят румынский и немецкий нацизм Второй мировой войны. Они помнят бомбёжки, расстрелы и массовое уничтожение людей по национальному признаку. Но там же, на тех же улицах, на берегах того же Днестра, летом 1992 года разразилась новая бойня. Почему? Мы не знаем, в чём заключается Провидение. Может быть, так и надо. Может быть, наступает время, когда человек, даже всё понимая, уже не может управлять собой, и его неудержимо тянет к войне, к разрушению, к убийству себе подобных. И причины уже не столь важны, потому что такое стремление — абсолютно иррационально. И, кстати, не нужно думать, что всё зависит от самих людей. Человек, теряющий разум, сам собой не управляет. Шквал сфабрикованной взаимоисключающей информации, которую не в состоянии критически усваивать человеческий мозг, действительно сводит людей с ума. Тем более что информационные технологии давно уже беззастенчиво манипулируют не только нравственными принципами, но и самими основами человеческого существования.

Мир — больше не мир — маска мира.

Вместо реальной жизни мы получаем подмену, маски. Маску религий, маску демократии, маску патриотизма, маску страны. И даже маску Бога. Современный нацизм страшен ещё и тем, что норовит натянуть на себя маску человеколюбия, маску законности и демократии. И многие добрые, отзывчивые и даже интеллигентные люди по этой причине скажут потом, что ни о чём не догадывались, что совершенно не понимали происходящего. А много ли нужно знать, чтобы перестать наконец оправдывать убийство людей? Много ли нужно знать, чтобы не воровать и не лжесвидетельствовать? Иногда кажется, что человечество опять идёт по пустыне. Но не туда, где из горящего куста явились на свет скрижали, а — в обратную сторону. Да и пустыня не та.

Вместо реальной жизни мы получаем подмену, маски. Маску религий, маску демократии, маску патриотизма, маску страны. И даже маску Бога. Современный нацизм страшен ещё и тем, что норовит натянуть на себя маску человеколюбия, маску законности и демократии.

МОНОЛОГ ОСКОЛКА

*Одиноким,
бесформенным нервом,
воплощённый в бугристый металл,
словно ангел —
меж небом и небом —
сиротливый осколок летал.*

1

На земле меняется индекс цен.
На рубле рисуется мой портрет.
Сиротливый снайпер смотрит в прицел,
как сановный пращур глядел в лорнет.

И пока ты стирала со щёк глаза,
и пока я маялся горящим горлом,
под свинцовым ливнем легла лоза,
подавился бюст пионерским горном.

Обречённо влюбляясь в изгиб моста,
словно пуля, пленённая сердцем голубя,
я стремился вниз.

И была пуста
траектория смерти,
как поле голое.

Я три дня и три ночи совсем не спал.
Я летал, пережаренный, как в аду.
Ты прости,
если я в тебя не попал.
Ты прости,
если я ещё попаду.

2

Отделённый от пустого тела,
как младенец в сморщенной горсти,
в яслях неба
слепо, неумело
чёрный ангел надо мной гостит.

Это я, рождённый от металла,
словно рубль — от медного гроша.
Это надо мной моя витала
чёрная осколочья душа.

Это я, как на арене цирка,
одиноким, голым, как в раю,
вертикально тощий, словно циркуль,
на горящей площади стою.

Это я среди безумной сечи,
лёгкий, как оголодавший мим,
улетаю, чтобы пересечься
со свистящим ангелом моим.

Это мне, забившемуся в щели,
не дано понять в сплошном огне —
то ли это я уже у цели,
то ли это он уже во мне.

3

Мы жили там,
где счастья мрачный поиск
на нет сводила долгая зима,
где медленно,
как сходит с рельсов поезд,
сходило человечество с ума.

И потому, уйдя на зов заката
туда, где пляж целуется с рекой,
ты тихо скажешь: я не виновата.
И обернёшься,
и махнёшь рукой
той пустоте,
что мной была когда-то.

4

Утром с куста опадает вода,
ночью с креста опадает хламида.
Нам, как прямым по капризу Евклида,
не пересечься уже никогда.

Мы разминулись в пустых небесах,
мы разошлись в Иудейской пустыне.
Ты не узнаешь, как медленно стынет
утренний снег в подмосковных лесах.

Нам обезумевший от икоты,
освобождённый от праведных пут,
через разрывы, раскаты, окопы
пьяный чертёжник прокладывал путь.

Страшен покой возбуждённой душе,
как захмелевшим словам — идиома.
Мир — геометрия идиота.
Нам не дано пересечься уже.

Будут прямые дружить на кресте,
будут гвоздями пронизывать руки,
будут, свистя, возвращаться на круги
пули в свирепой своей нагоде.

Сном Иоанновым наяву
будет усеивать улицы падаль,
будет звезда Вифлеемская падать
на разорённые ясли в хлеву.

5

И было:
свалившееся за клеть,
как не остывшая стеклотара,
солнце,
и Днестр,
похожий на плеть,
уже изогнутую для удара,

и отдалённый лягушечий плеск,
и тишина, как зрачок абрикоса,
стрекот цикад
и внезапная плешь
остывающего покоса,

к стихосложению бессмысленный дар,
обречённый,
словно визит к аптекарю,
и выстрел — будто захлопнули портсигар
так,
что потом прикуривать некому.

6

Я встал меж ними,
где дышали
воронки струпьями огня.
И с двух сторон они решали,
кому из них убить меня.

Но не решили.
Солнце село,
изнанку леса показав.
Я спутал логику прицела,
задачу передоказав.

И снайперы,
сверкнув затвором,
лишь птиц спугнули с чёрных крон.
А я себе казался вором,
укравшим пищу у ворон.

Победа —
 это первый тёплый снег,
 укрывший поле, где бродили волки,
 сквозняк развалин,
 гильзы от двустволки,
 пустой башмак
 и истеричный смех
 у зеркала.
 И зеркала осколки,
 осколки смеха прячущие в снег.

О, Господи, они тебе нужны?
 Зачем тебе такая маета?
 Они ещё, случается, нежны,
 зато всё лучше бьют от живота,

 переступая трепетную грань
 за горсть железа и железный стих.
 Ну что тебе от неразумных сих,
 стреляющих и гибнущих от ран?

Предательство оплачено сполна.
 Иуде не осилить эти суммы.
 Они разумны, Господи!
 Разумны!
 И в этом суть.
 И в этом их вина.

Разрывы.
 Перья.
 Облака.
 Струя кровавого рассвета.
 Давай-ка улетим, пока
 над головой хватает ветра.

Но женщина, присев к столу,
 как музыкант больную скрипку,
 пронзает ржавую иглу,
 вдевая выцветшую нитку,

пытаясь наскоро, к утру,
 уйдя от мира, как от плена,
 заштопать чёрную дыру
 и на чулке,
 и на вселенной.

Уже однажды пересечена
 грань, за которой больше нет запрета,
 и страха нет.
 Всё выбрано до дна.
 И лишь ночами так болит вина,
 что всё плывёт.
 Одна вина конкретна.

Одна вина конкретна.
 И война
 конкретна, как конкретны пятна крови
 и небом продырявленные кровли.
 Сквозь них пока не хлынула вода,
 но виден Марс в своей нелепой роли
 Рождественской звезды.

Покуда цел
 несчастный снайпер и тасует лица,
 он взят уже другими на прицел.
 Меж снайпером и целью нет границы
 в стране, где выстрел — средство, а не цель.
 И цели нет.
 Она нам только снится,

как кочка в застывающем болоте,
 как перед смертью — высохший женьшень.
 Стрелок освобождается от плоти.
 Планета, как осколок на излёте,
 нащупывает в вечности мишень.

Начинается снег,
 будто заново жизнь начинается,
 будто заново женщина
 с вечера стелет постель.
 Начинается так,
 как домашний пирог начиняется
 молодыми грибами
 к приходу внезапных гостей.

Начинается снег.
 Начинается новая вьюга,
 засыпая обломки трагедий
 и гвозди голгоф.
 Мы ещё влюблены.
 Мы ещё не касались друг друга.
 Да и гости едва ли касались
 твоих пирогов.

Начинается снег.
Между рамами морщится вата.
Заметаются вешки
на дальней кровавой меже.
Ни войны, ни тревоги.
И ты уже невиновата.
Да и я невиновен.
И все невиновны уже.

12

Паденье — тоже форма бытия.
Когда стрелок летит в провал полёта
бездонного двора на снег белья,
на бабочку фонарного огня, —
не отличить паденья от полёта.

Не отличить полёта от паденья
в пыль облака, в пожухлую траву.
Мы выживем,
как выживают тени,
на время уходящие за стены.
Я падаю.
И, значит, я живу.

Мы падаем.
И, значит, мы живём.
Как ласточки, не сеем и не жнём.
И, как с крючка сорвавшаяся рыба,
как в водоём,
уходим в окоём.
Что наша жизнь? —
Мгновенье после взрыва.

13

Расщеплён, как Адамова плоть,
как единый язык в Вавилоне,
этот мир.
И, как пробковый плот,
я отпущен в свободный полёт
с не ушедшего от погони
корабля.

И, над водами мчась,
уподобившись снегу и граду,
понимаю, что я в этот час —
часть ковчега,
воздушная часть,
не приставшая к Арарату.

Я смотрю с опустевших небес,
как, цепляясь за землю, за племя,
за огонь перезрелых невест,
за межи,
за отравленный лес,
за ненужное, жалкое время,

за случайность кукушечьих лет,
ослеплённо, как ратник во гневе,
вы бредёте по пояс в золе.

Я — один.

Ваши корни — в земле.

А мои — в небе.